

Политехнический институт

Школа окончена. Групповая фотография: педагоги и ученики. Выпускной спектакль «Как важно быть серьезным» Уайльда. Я исполнял роль Эрнста, но без особого успеха — эта роль оказалась для меня слишком серьезной.

Мне нет еще шестнадцати, и в институт поступить нельзя. Тогда только-только были восстановлены приемные экзамены — принимали с семнадцати лет. Ну что ж, придется поиграть в шахматы, а затем серьезно готовиться, чтобы год спустя на экзаменах не было осечки.

Летом 1927 года участвую в шестерном турнире в два круга. Жил на даче в Сестрорецке, весь день на пляже (плечи были иссиня-черные) и два раза в неделю ездил в Ленинград. Едешь поездом (тогда по этой линии поезда еле двигались), смотришь в открытое окно, чистый-чистый воздух, во всем теле необычайная легкость, голова ясная — можно играть в шахматы!

Во втором круге проигрываю решающую партию Петру Арсеньевичу Романовскому и остаюсь на втором месте. Меня зачисляют пятым кандидатом в чемпионат СССР. Но «кандидата» уже побаиваются. Партии мои публиковали газеты...

С этим был связан забавный эпизод. А. Ильин-Женевский вел тогда шахматный отдел в газете «Правда»; прослышал он, что я выиграл хорошую партию у Рохлина, и попросил проигравшего продиктовать по телефону текст партии. Яков Герасимович сначала отнекивался, а затем решил подшутить и после 10-го хода продиктовал то, чего в партии и не было. Ильин написал «сопровождающие» примечания и все опубликовал! «Сдался» Рохлин в позиции, где легко делал ничью...

И вот Москва. Живу в гостинице «Ливерпуль», она находилась в Столешниковом. Играем в фойе Октябрьского зала Дома Союзов. Впервые вижу Крыленко. На открытии чемпионата Безыменский читает поэму «Шахматы».

Еще в поезде (едем, конечно, в общем вагоне) Романовский (ему было тогда тридцать пять) говорит: «А вдруг Миша будет первым?» — и сам смеется. Шахматист Романовский был незаурядный. Техника невысокая, но неистощим на выдумки и опасен в атаке. Шахматы любил бесконечно. К деньгам относился равнодушно, поклонение обожал. Советы давал иногда такие, что запоминались навсегда: «Если у вас атака, не меняйте фигуры. Меняйте лишь тогда, когда это приводит к реальной выгоде...»

Однажды мы вместе с Петром Арсеньевичем участвовали в областном чемпионате Рабпроса — зимой 1929 года. Играл я партию с А. Батуевым, будущим мастером; белыми я получил подавляющий перевес, но, не сделав ни одной видимой ошибки, упустил преимущество, и партия закончилась вничью.

— Петр Арсеньевич, как я не выиграл такую партию?

— Раз не выиграла, Миша, значит, в глубине души по-настоящему этого не хотели...

Ко мне, как и все старшее поколение мастеров, Романовский относился ревниво и без особого дружелюбия. До моего появления Романовский и его сверстники царствовали безмятежно — и вдруг появился «выскочка»...

На финише чемпионата СССР я выиграл четыре партии подряд, завоевал звание мастера и поделил в чемпионате пятое-шестое места.

Теперь надо готовиться к экзаменам в вуз!

Вопрос учиться или играть в шахматы передо мной не возникал. Я хотел учиться, хотя шахматы были для меня не менее существенны, чем учение. Интуитивно я понимал, что учение полезно и для игры в шахматы; с другой стороны, я считал себя обязанным заниматься и другим трудом — как все, выделяться нечего... Быть может, этот метод сочетания шахмат с другой профессией не так уж плох?

Все же зимой 1928 года я решил сыграть в чемпионате областного комитета профсоюза металлистов. И не столько для того, чтобы потренироваться (турнир был не очень сильный), сколько для того, чтобы завоевать... первый приз — 40 рублей (деньги для меня немалые). Выиграл хорошую партию у Б. 10рьева (№ 20), да и первое место занял. Но...

Подошел ко мне организатор турнира, некто Федоров, и сказал:

— Вот, распишитесь здесь, мне нужно для вас получить деньги. Я и расписался на чистом листе бумаги. И Федоров исчез...



М. М. Ботвинник (1926)

Побежал я жаловаться в шахматную секцию Облсовпрофа, к Я. Г. Рохлину.

— Миша, приз будет получен.

И пьянице пришлось вернуть деньги. С тех пор в денежных делах я стал осторожнее.

По физике и математике я действовал самостоятельно. Но обществоведение и литература?.. Там требования и программы менялись быстро. Я записался в группу, где опытный педагог «натаскивал» двенадцать абитуриентов. Все курили. Чтобы не быть белой вороной, закурил на два

месяца и я; кончились занятия — сразу бросил.

— Мишка,— сказал мне мой друг Гриша,— я по физике и математике занимаюсь у одного бывшего боксера. Его брат — знаменитый профессор по электротяге в политехническом... Там профессора мечтают с тобой сыграть. Поедешь со мной к Лебедеву на обед?

Зимой 1926 года был я уже шахматист «известный». Играл тогда в полуфинале чемпионата Ленинграда, и, когда заболел, пришел меня проведать один школьный шахматист и привел с собой приятеля — Гришку Рабиновича; с тех пор Гриша и стал моим болельщиком.

Вместе с Гришкой едем на «девятке» (трамвай № 9) в Лесной. Гришка был на редкость жизнерадостным парнем, со смазливой физиономией, весьма остроумный и находчивый. «Острюсь с пяти до семи»,— говорил он о себе. Гришка и меня не щадил: «Мишка, посмотришь на тебя издали — будто глуповат, а вблизи так все ясно — дурак дураком!» И вместе гогочем.

Запас анекдотов его был неистощим, и всюду он становился душой общества. Любил присочинить.

— Гришка, зачем ты меня обманываешь?

— Да поверь мне, чистая правда...

— Не верю. Через два дня:

— Ну видишь, соврал?

Гришка только разводит руками и сам сокрушается.

Мы с ним очень дружили, и всю мою шахматную жизнь он за меня «болел». Способностей был выдающихся, в сороковые годы был первым замзавгорфинотдела Ленинграда. До знакомства с Гришей я был весьма застенчив — новый приятель сделал меня

жизнерадостным. Относился он ко мне трогательно, водил в парикмахерскую (один ходить я стеснялся). В 1934 году, когда мне нужно было ехать в Гастингс, Гриша написал докладную руководству Ленсовета, и мне бесплатно сшили два костюма. Как-то после войны попал я к нему в кабинет (просил деньги на ремонт здания шахматного клуба; деньги, конечно, были выделены) во время приема представителей организаций: замзав наизусть знал их финансовые дела... Впоследствии он защитил кандидатскую и докторскую диссертации и стал профессором.

...Супруга нашего хозяина, стройная дама с сильным телом, грубоватым лицом и русалочьими волосами, пригласила всех к столу. День был жаркий, и подали кислые щи. Аппетит у нас был отменный, мы дружно хлебнули по ложке и... с ужасом уставились друг на друга: щи прокисли настолько, что нельзя было есть — они вызывали спазмы.

— Вы знаете,— сказал мой находчивый товарищ,— прошлым летом моя мама каждый день готовила щи. Они мне очень надоели. Можно, я их не буду есть?

Оба мы — я с тоской, а Гриша с торжеством — провожали взглядом тарелку со щами. Но что делать? Все же это свинство, что Гришка оставил меня в беде, и я решил с ним разделаться!

— Знаете,— сказал я,— моя мама прошлым летом тоже каждый день

готовила щи.

Если бы Гришкин взгляд мог убивать, эти строки не были бы написаны...

В профессорском доме, что против химического факультета, на квартире у Павла Лазаревича Калантарова (до революции у него была вторая категория по шахматам) собрались Герман Адамович Люст (проректор института; ректором был Александр Александрович Байков), Людвиг Марианович Пиотровский, Иван Матвеевич Виноградов, Алексей Борисович Лебедев и другие — сеанс состоялся. Оригинально ставил партию знаменитый математик Виноградов (не так давно он скончался, когда ему было за девяносто): он прежде всего выдвигал все пешки на один ряд вперед, «чтобы фигуры имели свободу», — пояснял он; затем играл неплохо, но спасти партию было уже невозможно. Позднее мы с ним вместе отдыхали в Теберде, жили в одной комнате, и Иван Матвеевич развлекал меня смешными историями — рассказчик он был отличный. Последний раз виделись мы лет двадцать пять назад.

— Как проводите конец недели? — спросил я.

— Пни корчую на даче. — Ломом?

— Нет, руками, мне бы только за пень ухватиться...

В основном все это были профессора электромеханического факультета, куда я мечтал поступить. Тогда стать электротехником означало не менее, чем теперь — физиком.

Поступить было нелегко. Девяносто пять процентов всех мест предоставлялось рабфаковцам, пять процентов — экзаменующимся. «Подавайте заявление на ФИЗ (факультет индустриального земледелия), — посоветовал Калантаров, — там конкурс меньше».

Держу экзамены. Не моюсь (тогда, кажется, все так поступали — примета). Последний экзамен по физике. Экзаменатором оказалась молодая женщина со строгим, суровым лицом. Решил все задачи, в том числе одну оригинальную. Дама на меня посмотрела внимательно: «А что такое удельное сопротивление?» Смотрю на нее с удивлением — в физике Краевича об этом ничего не сказано! Тут уже экзаменатор пожимает плечами, но Екатерина Николаевна Горева (супруга известного русского электротехника, моего будущего профессора Александра Александровича Горева) отпускает меня с миром...

В институт меня не приняли. Профессора тогда не имели права голоса, всем распоряжался Пролетстуд. Из числа школьников, успешно выдержавших испытания, принимали только детей специалистов (инженеров) и рабочих. Я был сыном «лица физического труда» (тогда была такая категория — к ним относились дворники, зубные техники и др.). Рохлин, заместитель председателя шахматной секции облсовпрофа, заготовил ходатайство и поехал в Мраморный дворец — там помещалась апелляционная комиссия. После двухмесячных хлопот и тревог, с моей личной точки зрения, гора родила мышь — меня зачислили на математический факультет университета. Там был недобор, так как

рабфаковцы туда шли неохотно. Все хотели работать на индустриализацию!

Однако все же меня перевели в политехнический. В первых числах января 1929 года в Москве были студенческие командные соревнования по шахматам. Руководителем ленинградской команды был Иван Демьянович Пушкин, заместитель председателя Ленинградского пролетстуда. Пушкин сам учился на электромеханическом; когда в Москве мы заняли первое место, он похлопал меня по плечу: «Знаю, знаю, к нам хочешь... Переведем!»

Во время матча Ленинград — Ташкент мне довелось черными играть против шахматиста первой категории Б. Вайнштейна, В соревновании я играл не очень удачно — сказывался «нервотреп», связанный с поступлением в вуз. Но эту партию провел весьма слабо, и когда она была не окончена и передана на присуждение Ф. И. Дуз-Хотимирскому, у черных недоставало фигуры (за две пешки).

Дуз махнул рукой и первоначально присудил мне поражение. «Простите,— сказал капитан ленинградских шахматистов,— вы можете продемонстрировать выигрывающий вариант?» И здесь началась комедия: Федор Иванович на протяжении двух часов пытался найти выигрыш за белых. Он был шахматистом немало природного таланта (на международном турнире в Петербурге 1909 года выиграл обе партии у победителей — Эм. Ласкера и А. Рубинштейна), но настоящей школы не было, и уже тогда я его превосходил в анализе. Все варианты опровергались, и по требованию нашего капитана Дуз вынужден был присудить ничью.

Иван Демьянович сдержал слово, и в начале февраля новый студент-политехник впервые пришел в группу на занятия.

Почти все были с рабфака, в возрасте 25—35 лет; из тридцати студентов лишь четверо — со школьной скамьи. Сначала отношение ко мне было настороженным, но оно быстро рассеялось. Ваня Калачанов, Лев Цейтлин (он был из школьников), Вася Новиков, Серега Забродин оказались моими новыми друзьями. На факультете общих лекций почти не было, лишь физику читал всем студентам Владимир Владимирович Скобельцын (отец нынешнего академика), да на втором курсе лекции по электрическим измерениям — Михаил Андреевич Шателен (один из первых русских электротехников), а теоретические основы электротехники — академик Владимир Федорович Миткевич.

Основные знания студенты получали в группе, где теорию и упражнения вели весьма квалифицированные педагоги. Они принимали и экзамены (контрольные работы) по мере прохождения курса: экзаменационных сессий как таковых, по сути дела, не было. Оценки были простые — сдал или нет! Преподаватели хорошо знали слабости своих студентов, помогали им, да и знания легко было проверить.

Теоретическую механику преподавал бывший артиллерийский поручик Николай Александрович Заботкин. Маленького роста, кругленький (и голова была круглая, хоть и несоразмерно большая), подтянутый, с неизменным пенсне на маленьком носике, глаза - с затаенной хитринкой. Говорил четко, дело знал отлично и преподавал по своей системе: сначала

объяснял, как решать задачи (давал при этом формулы), решал их с нами, а затем излагал теорию. Некоторые рабфаковцы были подготовлены слабо, учиться им было нелегко. Один из них, некто Дерюгин, уверял, что это происходит из-за оригинального метода Заботкина.

— Николай Александрович, а разве не лучше сначала теория, а потом упражнения?

— Нет, не лучше, а хуже...

Тут Дерюгин стал горячо доказывать, что сначала нужна теория, а Заботкин немногословно, но ловко отбивался. Наконец отчаявшийся спорщик использовал последний аргумент:

— Ну хорошо. Разве не все равно, что сначала и что потом? Тут Заботкин преобразился: лицо его стало строгим, в глазах — смех:

—/Если все равно, не будем ломать установленный порядок,— заявил он под общий хохот.

Задача передо мной была нелегкая: за пять месяцев должен был сдать все дисциплины за первый курс. Учиться было почти некогда — я только «сдавал» (занятия в группе посещал, лекции пропускал). Один экзамен по физике я завалил (на уравнении Ван дер Ваальса), и надо же — Алексею Ивановичу Тхоржевскому, родному брату моего школьного учителя истории! Каюсь, готовил шпаргалки. В день контрольных вставал в пять утра, конспектировал курс на нескольких листиках бумаги, завтракал, бежал по Невскому до Литейного, на ходу вскакивал на последнюю (открытую) площадку второго вагона «девятки» и в десять-одиннадцать утра уже сидел в аудитории. Запоминал я все неплохо, в шпаргалку заглядывал в исключительных случаях...

Сидел я на одной парте с Цейтлиным: длинный, худой, чуть сутулый, взор исподлобья, говорил негромко, юмора — хоть отбавляй, упрямства — тем более. Никогда я не встречал студента более способного — он усваивал самую суть дела, и прочно. Преподаватели его побаивались. По сравнению с ним я усваивал знания слабо — потом, правда, выяснилось, что в поиске я был сильнее.

— Я знаю, что вы ничего не знаете,— полупрезрительно и полушутя говорил мой товарищ,— но вы молчите с таким видом, что преподаватель верит, будто вы кое-что знаете...

Работаем в лаборатории машин постоянного тока. Случайно Цейтлин порвал цепь возбуждения. В соответствии с законом Фарадея двигатель пошел вразнос, перегрузка — все отключилось, и зал погрузился в темень. Цейтлина так напугал круговой огонь по коллектору, что он, как крылья, вскинул свои длинные руки и смахнул очки с моего носа. В темноте очки не найдешь — пришлось прибегнуть к очкам для чтения. Дали свет. Цейтлин потрясен: «Разве я не зацепил ваши очки?»

И вот я перешел на второй курс. Медицинская комиссия — . пошлют или не пошлют в военный лагерь? Ведь на носу очки! Лагерь не армия — признали годным.

Живем в палатках. По неопытности занимаю крайнее место: стоит в дождь во сне прикоснуться к тенту, как становишься мокрым — палатка пропускает воду.

Сначала нас ночью частенько гоняли на аэродром. Однажды я даже одевался во сне, замешкался, догнал свое отделение и полностью проснулся лишь при подходе к летному полю. Аэродром тогда был в высокой траве. Роса, мы промокали насквозь... Самолеты допотопные — «юнкере» (ЮГ-3) из гофрированного металла, матерчатые И-2 и Р-1... Конечно, мы на них не летали, а только мыли и протирали.

В лагере — единственный раз в жизни — играл три партии вслепую одновременно, никаких затруднений при этом не испытывал (Н. В. Крыленко тогда запретил играть не глядя на доску, и в СССР это запрещение для публичных выступлений выполняется. Суть дела в том, что мастер вслепую играет хуже в творческом отношении, а здоровью его может быть причинен ущерб... Алехин отлично играл вслепую, но относился к этой игре отрицательно). Ездили в Новгород, где сыграли матч со сборной города.

Все это было, конечно, слабой подготовкой к чемпионату СССР в Одессе.

В период между двумя чемпионатами СССР (1927 и 1929 годов) я участвовал лишь в двух не очень сильных турнирах, о которых уже шла речь. Чемпионат начался в августе; в четвертьфинальной группе я легко взял первое место.

В последнем туре четвертьфинала я выбился из сил, «выжимая» выигрыш в партии с А. Поляком — накануне Всеволод Альфредович Раузер попросил меня об этом:

— Если вы выиграете у Поляка, а я выиграю у Рюмина, то по таблице коэффициентов я обгоню Поляка и попаду в полуфинал.

В полуфинале можно было легко выполнить норму мастера; уже тогда я относился к Всеволоду Альфредовичу с уважением и не мог ему отказать. В итоге Раузер черными блестяще в семнадцать ходов «разнес» самого Рюмина и в полуфинале стал мастером.

Большой след оставил Раузер в истории советских шахмат, и не только в истории. Его дебютные идеи, тесно связанные с планами в середине игры, неуязвимы и по сей день (это относится и к испанской партии, и к сицилианской защите, и к французской защите). Исследовал он только ход 1. e2—e4 за белых и нередко создавал глубокие партии. К сожалению, нервная система у него была непрочной, и практические успехи не соответствовали его потенциальным возможностям. Человек он был со странностями (через несколько лет заболел психическим расстройством). Погиб во время блокады Ленинграда.

В 1931 году в Москве на финише чемпионата СССР я обогнал своего конкурента Николая Рюмина на пол-очка, но оставалось еще два тура. Рюмин должен был следующую партию играть черными с Раузером. Я тогда и напомнил Всеволоду Альфредовичу, что долг платежом красен.

— Да не могу я хорошо играть в шахматы... У меня неправильные

черты лица (?!),—вдруг заявил Раузер.

Сначала я растерялся, но решил прибегнуть к святой лжи:

— Алексея Алехина, который живет в Харькове, знаете? У него правильные черты лица?

— Нет, конечно...

— Так вот, Алексей Алехин — Аполлон по сравнению со своим братом Александром, а ведь тот играть умеет!

Раузер провел партию с Рюминым с большой силой и выиграл.

Но вернемся к турниру в Одессе. В полуфинале от переутомления я играл слабо и по возвращении в Ленинград вынужден был оправдываться перед друзьями.

И на втором курсе я учился ненормально. Правда, первый семестр прошел благополучно. Ходил на лекции, но там мне делать было нечего. Через пять минут я переставал что-либо понимать и, облегченно вздохнув, вытаскивал карманные шахматы...

В нашей группе упражнения по переменному току вел сам Миткевич. Однажды он меня вызвал решать задачу. Я ничего не знал, и, как всегда в д-аких случаях, Владимир Федорович сам решал задачу за студента, потом он меня ласково отпустил. Все стремились сдавать экзамен ему. Если студент ничего не знал, Миткевич все равно ставил ему зачет и утешал неудачника: «Ничего, ничего! Необъятного — не обнимешь!» Все это ввергало в отчаяние его заместителя по кафедре Калантарова — тот был весьма строг. Но когда впоследствии Калантаров взял на кафедру Цейтлина, то уже

сам Павел Лазаревич умолял моего товарища «не снижать успеваемость» на факультете...

Но в конечном итоге Цейтлин стал преподавать в Военно-электротехнической академии, где подготовил кандидатскую диссертацию, но к защите допущен не был — не все экзамены сдал. «И сдавать не буду,— упрямо твердил он,— этот предмет не имеет отношения к моей научной теме...»

Калантаров поговорил с начальником Академии, и тот издал приказ: «Капитану Цейтлину в такой-то срок сдать экзамены». С хохотом Павел Лазаревич рассказывал, что Цейтлин приходил к Нему жаловаться: «Какая-то сволочь донесла начальнику...» Потом легко защитил докторскую — благо уже без экзаменов!

С января 1930 года началась реформа высшей школы. Стране, приступившей к индустриализации, нужны были не просто инженеры, а из рабочих и крестьян — преданные Советской Родине. Что же делать, если у части рабфаковцев подготовка была слабой?.. Решили облегчить учение.

Это была необходимая, хотя и временная мера. Конечно, в среднем она снизила уровень знаний молодых инженеров, но все же эти знания оказались достаточными для того, чтобы выполнять обязанности организаторов производства.

Я лично, как это ни странно, выиграл от реформы; чрезмерным объемом информации я не был перегружен, и больше нервных клеток можно

было использовать для принятия решений в оригинальных ситуациях!

Наступила эра бригадно-лабораторного метода. Экзамены и контрольные были отменены. Группы разделились на бригады в шесть-семь студентов. Преподавателей не хватало, и были привлечены работники с производства. Политехнический подвергся реформе — каждый факультет стал самостоятельным институтом.

Весной 1930 года мне довелось играть в турнире, куда были приглашены только мастера: Левенфиш, Романовский, Ильин-Женевский, Готгильф, А. Куббель, Модель, Рохлин и Рагозин. Играли два раза в неделю в Доме работников физкультуры (были и выездные туры). В трудной борьбе я завоевал первый приз — немецкие шахматные часы (они служили мне лет двадцать, пока няня, дочка Матрена Семеновна втихую не стала их повседневно использовать, и они наконец сработались). Это был мой первый успех среди мастеров. Сорок лет спустя я перестал выступать в шахматных соревнованиях.

Институт я не пропускал. Запомнилось одно занятие на старшем курсе по устойчивости электропередач. Предмет вел «сам» Александр Александрович Вульф — он впервые в истории советской электротехники сделал расчет устойчивости передачи энергии (от Волховской ГЭС в Ленинград). Высокий, худой, шея тоненькая, бесстрастное лицо и тихий голос (словно бы его и нет на занятии), дело он знал превосходно.

«Кто может ответить на этот вопрос?» (не помню уж на какой).

Минутное молчание; наконец вызывается некто Даманов. Смотрим на него с удивлением — мы знали, что он не знает...

Даманов начинает весьма робко. Вульф застыл как изваяние. Поскольку его не останавливают, Даманов оживляется и минут десять с жаром высказывает свои соображения; наконец замолкает. Все мы с нетерпением ждем оценки Александра Александровича. Тот молчит, потом говорит тихо и бесстрастно: «Это неверно».

Даманов смущен, но Вульф продолжает молчать, и история повторяется. Постепенно Даманов опять входит в раж, и мы снова с интересом смотрим на профессора. «И это неверно...»

Так и «учились».

Впрочем, далеко не всегда так. Один курс — «Механический расчет опор, проводов и тросов» — знали все. Николая Павловича Виноградова заменить было невозможно, и группу собрали вместе.

Нас предупредили, что экзамена не будет, но каждый получит индивидуальное задание на проектирование. Учебника не было — Николай Павлович излагал нам свою теорию (была и диаграмма Кремоны, и диаграмма Виноградова), каждый вел конспект. Затем — трудный проект, помогать друг другу некогда! Все хорошо учились.

Роста Николай Павлович был небольшого, имел брюшко, на котором покоилась золотая цепочка от часов. Говорил тенорком (позднее я узнал, что он увлекался пением и охотно выступал на вечеринках).

Летом 1931 года мы проходили практику на Днепрострое. Попал я в

техотдел, и дали мне рассчитать временную переемычку (временную линию передачи) на деревянных опорах. Виноградов нам о деревянных опорах не рассказывал, но я раскрыл СЭТ («Справочник электротехника»), заглянул в раздел, составленный нашим преподавателем, и сделал расчет.

Как я ни переделывал его, опоры валялись. Я уже отчаялся, вдруг вижу улыбающегося Николая Павловича — он был консультантом Днепростроя.

— Что здесь делаете?

— Да вот, деревянные опоры валятся...

— Переемычка временная? Ослабьте тяжение провода. Боже, как просто — опоры перестали падать!

На Днепрострое было нелегко. И жилье, и питание — с военным лагерем не сравнить. Сыграли матч с Запорожьем. Совет физкультуры в Запорожье помог при отъезде в Ленинград с билетами на поезд — дали справку, что мы едем «для обмена опытом по эстафете урожая». Тогда шла уборочная кампания, и поэтому билеты мы получили вне очереди.

В октябре 1931 года в Москве проходил очередной чемпионат СССР. Собралось несколько десятков участников; сначала были полуфиналы, затем — финал.

Первые четыре партии легко выиграл; настроение было хорошее. Играли мы в фойе Октябрьского зала Дома Союзов, перед игрой обедали там, где теперь буфет Колонного зала. Стояли длинные столы, скамейки, где и рассаживались участники. Пообедав с аппетитом, решаю, что хорошо бы съесть вкусный шницель еще раз (время было голодное). Пересаживаюсь за другой стол. Официантка, естественно, принесла мне тарелку борща. Отказаться от первого блюда невозможно — стало бы ясно, что уже обедал. Пришлось съесть не только шницель, но и борщ... Тут же началась партия с А. Константинопольским. Из дебюта вышел с перевесом, но затем почувствовал, что засыпаю. Когда «проснулся», положение уже было проигранное. На следующий день с горя проиграл еще и П. Измайлову — вот к чему иногда приводит лишний обед. Мой выход в финал оказался под угрозой. Все же второе место удалось занять, но в финале меня ждали новые испытания.

В первом туре проигрываю Ильину-Женевскому, в седьмом — Созину: чуть не «повторился» турнир в Одессе... Но в последующих десяти партиях набираю девять очков и впервые завоевываю звание чемпиона.

В 1932 году принял участие в составлении сборника этого чемпионата. Половину партий прокомментировал, примечания к остальным — отредактировал. Это был мой первый большой аналитический труд. Закончил эту работу во время отдыха в Темникове. (Мордовия).

Когда вернулся в Ленинград, начался чемпионат города. По моему предложению принимается новый регламент соревнования — играть каждый день (участников освободили от работы). Как это ни странно, нашлись мастера, которые считали, что лучше проводить два тура в неделю.

Набрал я в турнире 10 из 11 и, естественно, опередил всех

участников...

Итак, институт закончен. Дипломного проекта, конечно, не было. Учились мы четыре года, я — и того меньше. Страна получила необходимое количество специалистов; цель была достигнута.

Вскоре прежний режим высшей школы был восстановлен.

Попал я по распределению в лабораторию высокого напряжения имени А. А. Смурова. Смуров создал эту лабораторию (было заказано первоклассное оборудование в США), помещалась она в электротехническом, на Песочной улице. В результате реорганизации лаборатория тогда перешла к нашему институту. Смуров был уже тяжело болен. Однажды, незадолго до его смерти, я был представлен Александру Антоновичу в его профессорской квартире.

Было мне в лаборатории скучно. Еще студентом во время практики меня заставили считать устойчивость проектируемой системы Белорусэнерго. Считал я методом step-by-step (шаг за шагом). Сейчас эти расчеты с легкостью производятся на ЭВМ, тогда я считал три месяца. В это время (зимой 1932 года) в лаборатории Смурова появился Александр Александрович Горев. Показали ему мой расчет. Руководили мной два аспиранта, мои старшие товарищи,

Витя Гессен и Вася Толчков. Горев сразу указал, что основная формула, с помощью которой упрощалась схема сети, была ошибочной — весь расчет, стало быть, надо выбросить в корзину!

У Александра Александровича был диплом № 1 нашего политехнического. Электрик он был универсальный, общая подготовка исключительно сильная — ему было безразлично, для какой технической задачи применять свой логический аппарат. Пользовался всегда строгими методами решения, хотя иногда и увлекался.

В конце 20-х годов он работал в ВСНХ. Горев вывел систему уравнений, описывающую режимы работы синхронной машины. Эти уравнения он получил при четких ограничениях задачи. Еще раньше, хотя и менее строго, их вывел американский ученый Парк. Поэтому в Советском Союзе эту систему уравнений называют уравнениями Парка — Горева. По сути дела, они относятся к любой машине переменного тока, не только к синхронной. С этими уравнениями связана почти вся моя работа в электротехнике.

Горев был высок ростом, широк в плечах, сутул, длиннорук. Массивная нижняя челюсть выдавалась вперед, говорил громко и, когда увлекался, — не очень ясно. Работал в очках, но когда хотел взглянуть на собеседника, то, опустив голову, смотрел поверх очков. Тогда он уже был лысоват, и если напряженно думал, то перед тем, как высказаться, поглаживал поредевшие волосы.

Когда задумывался, был страшноват. Взор становился потусторонним (глаза смотрели в никуда), нижняя челюсть отвисала. Потом за очками в глазах появлялось нечто счастливое и хитроватое, иногда он, по-детски захлебываясь, смеялся. Если решение ему казалось важным, то ударял

громадным кулаком по столу и с апломбом высказывал резюме.

Приходил он в лабораторию раз в неделю. Когда он получил кафедру в институте, стал работать только в своем домашнем кабинете (с неизменным эрдельтерьером), там и спал. Эта квартира на втором этаже профессорского дома была хорошо известна всем его сотрудникам.

В лаборатории Смурова Горев по работе часто соприкасался с Николаем Николаевичем Щедриным. Николай Николаевич роста небольшого, выражение морщинистого лица деликатное, внешне никогда не проявлял своих переживаний. Щедрин впервые в СССР стал считать токи короткого замыкания (это необходимо при выборе электрооборудования), был он также универсальным электриком. Щедрин умер, когда ему шел девятый десяток. Вдвоем они являлись весьма примечательной парой. Когда великан Горев громогласно развивал какие-либо идеи, а маленький Щедрин их спокойно опровергал, наблюдать было любопытно. Николай Николаевич подсказал мне тему кандидатской диссертации.

С аспирантами Горев обращался просто: сам он о них никогда не вспоминал, а когда аспирант приходил и начинал что-либо рассказывать, Горев посматривал на него поверх очков, потом думал — и либо отделивался от посетителя, либо, если находил что-то для себя интересным, завязывал спор.

Однажды к нему явился Вася Толчков и стал показывать свои расчеты. Горев подумал и спросил: «А на какой логарифмической линейке вы высчитывали с точностью до пятого знака? На полуметровой?» Толчков с гордостью сказал, что на обычной, длиной двадцать пять сантиметров.

Горев поднялся во весь свой рост и заорал на бедного Васю: «Вон отсюда!!» На обычной линейке можно считать лишь до третьего знака. Пришлось аспиранту Толчкову сменить научного руководителя — он перешел к Вульффу.

В декабре 1932 года и я стал аспирантом электромеханического факультета.

За победу в «турнире мастеров Дома ученых» меня премировали путевкой в санаторий (еду в санаторий впервые!).

Вместе с моим старшим товарищем Я. Г. Рохлиным собираемся в дорогу — на Кавказ, в Теберду. Все это весьма кстати — надо отдохнуть и подготовиться к очередному, 8-му чемпионату СССР.

Время было тяжелое. Колхозы еще не окрепли, с продуктами плохо. Ходили слухи об эпидемии сыпного тифа. Мать не хотела меня отпускать. Однако мой жизнерадостный спутник ее уговорил: «Есть отличное средство против насекомых — нафталин... Будем «дезинфицировать» всех пассажиров».

Рохлин сдержал слово. Я помирал со смеху, когда в поезде он обсыпал нафталином себя, меня и, беседуя с нашими соседями по купе, незаметно сыпал нафталин им в карманы, — с какой искренностью при этом он возмущался вместе с пассажирами, что в поезде неприятный запах!..

До Невинномысской доехали благополучно. Ночью ждем пересадки

на Баталпашинск. Не спим — почерневшие и высохшие от голода дети просят поесть: Кубань голодала. Оживление наше кончилось, мы не могли смотреть друг другу в глаза.

От Баталпашинска едем автобусом, и вот мы в санатории КСУ (Комиссии содействия ученым) в Теберде.

Горы, холодная речка Теберда (купаюсь, то есть окунаюсь и сразу даю стрекача), ученые, артисты, писатели. Знакомимся с Асеевым и Кирсановым. С Николаем Николаевичем Асеевым мы так и дружили до конца его дней (тогда ему показалось во мне что-то романтическое, и, хитро прищуриваясь, величал меня «немецким поэтом начала прошлого столетия»).

Особенно подружились после того, как он построил дачу на Николиной горе. Пришел я как-то к нему — сидит Асеев на крылечке, но такой печальный...

— Что с вами?

— Да вот, секцию прошел, а на пленуме завалили...

Понятно, речь шла о Ленинской премии. Но надо было поддержать друга шуткой, тем более что здоровье его было вконец расстроено.

— Николай Николаевич, не следует огорчаться. Раз вас провалили, значит, вы человек достойный.

Асеев тонко почувствовал иронию и ответил в тон:

— Это я знаю, да денег жалко...

Николаю Николаевичу юмора было не занимать.

Живая и остроумная Клава Кирсанова пользовалась общими симпатиями — ей было лет 25; туберкулез заставлял ее лето проводить в Теберде. Через четыре года бедная Клава умерла.

Играем в волейбол; однажды осмелился взгромоздиться на лошадь. Та (не хуже Асеева) поняла, с кем имеет дело, и полезла в гору. Как отец Варлаам из пушкинского «Бориса Годунова», я смекнул, что для спасения надо «читать по складам», и заставил все же лошадку вернуться. На этом моя кавалерийская карьера завершилась.

Здесь, в Теберде, впервые я задумался над подготовкой шахматного мастера — с карманными шахматами не расставался. Трудился я над дебютными вариантами, но еще слабо связывал начало партии с серединой игры. Уезжал я в Ленинград с несколькими «тебердинскими» разработками; они мне помогли немного — как дебют кончался, я вынужден был искать план заново.

Восьмой чемпионат СССР имел исключительное значение. Шахматисты, приобщившиеся к шахматам в советское время, впервые попали в чемпионат в 1927 году. Тогда я стал мастером. На следующем чемпионате страны, в 1929 году в Одессе, я «провалился», хотя состав участников был не лучшим. В 1931 году мне посчастливилось стать чемпионом, но не все ведущие представители дореволюционного поколения мастеров тогда играли. И вот в 1933 году на чемпионате в Ленинграде собрались все сильнейшие шахматисты страны. Именно здесь, в залах Центрального Дома работников физкультуры, должен был решиться спор между старшим

поколением и молодой порослью отечественных шахмат.

Турнир завершился полной победой молодых сил. Нельзя сказать, что тогда старшее поколение ослабело; нет, его представителям было около сорока лет. Но задача, поставленная Н. В. Крыленко в 20-е годы перед советскими шахматистами, успешно решалась — выросло молодое поколение советских мастеров.

Тогда была хорошая традиция: после выигрыша партии мастер должен был прокомментировать ее перед зрителями, это всегда вызывало интерес.

На мою партию с Левенфишем пришло много любителей шахмат; я применил один из заготовленных вариантов, но остроумной игрой партнер обострил ситуацию на доске, и белые еле-еле поддерживали равновесие. В эндшпиле Левенфиш допустил две-три неточности, и в конверт, когда партия была прервана, я вложил бланк, где был записан выигрывающий ход а4—а5.

Во время перерыва все участники одной компанией обедали в Доме ученых. Левенфиш, глядя на карманные шахматы, громогласно заявляет: «Если записан ход а4—а5, сдаю партию». Я не мог себя сдержать и кивнул головой (впоследствии в аналогичных ситуациях я вел себя иначе, ибо подобное предложение в какой-то

мере связано с косвенным нарушением тайны записанного хода). Вскрываем конверт,жимаем друг другу руки, и — по обязанности — я возвращаюсь в турнирное помещение, чтобы продемонстрировать зрителям сыгранную партию.

От счастья я плохо замечал, что происходит вокруг. Со всей искренностью критиковал свою игру, отметил промахи партнера. Но мой друг Слава Рагозин (тогда он не играл в чемпионате — Слава двинулся вперед лишь полгода спустя) при сем присутствовал и потом мне все рассказал.

Доигрывание партий еще не началось, поэтому собрались не только все зрители, но и участники — и стар и млад: они почтительно слушали, в том числе и Левенфиш. «Это был творческий триумф нашего поколения», — горячо уверял меня Слава.

Видимо, после турнира не один Рагозин был такого же мнения. Когда я сыграл последнюю партию, меня познакомили с Михаилом Зощенко. Был он худ, молчалив, на тонком, смуглом лице, оттененном черными, гладкими волосами, выделялись очень грустные глаза — не сразу можно было поверить, что имеешь дело с автором смешных рассказов. Вогнал он меня в краску: «Вы добьетесь в жизни многого, и не только в шахматах...» Видимо, Михаил Михайлович нашел во мне мало смешного. Вспоминаю это сейчас и думаю: решу проблему искусственного шахматиста — значит, Зощенко не ошибся.

На последнем туре был и Б. П. Позерн, старый большевик, один из руководителей Ленинградской партийной организации. Молодые мастера окружили его и просили содействовать встречам между советскими и иностранными шахматистами — с 1925 года это общение стало

неразрешимой проблемой... «Что ж, теперь это имеет смысл,— сказал Борис Павлович,— мы вас поддержим». Позерн был близок к С. М. Кирову.

Работая в лаборатории высокого напряжения имени Смурова, я особых способностей не проявлял. Считали меня и комсомольцем не очень активным. Каково же было удивление моих товарищей, когда в «Комсомольской правде» было опубликовано, что в числе 20 молодых представителей науки, искусства, культуры и спорта я приглашен на юбилейный пленум ЦДВЛКСМ, посвященный 15-летию комсомола!

Секретарь партбюро лаборатории Коля Тарасов (впоследствии Н. Я. Тарасов был заместителем министра энергетики), сообщая эту новость, пристально в меня вглядывался — чего он ранее во мне не заметил?

Юбилейный вечер состоялся в Большом театре. Сталина не было, он отдыхал на юге, члены Политбюро выступали с речами. Все проходило очень тепло и в то же время торжественно — комсомолу воздали должное, настроение было приподнятое. Потом состоялся концерт.

Через день нашу двадцатку пригласили на банкет в ресторан «Метрополь» — на встречу с руководством Цекамола. А. В. Косарев сидел против меня. Поражали его острый взгляд и решительное выражение лица. Многие произносили речи. Запомнилось одно выступление: кто-то из сидевших рядом с Косаревым встал и красноречиво отметил заслуги комсомола. А закончил с хитрой усмешкой: «Всеми своими победами комсомол обязан нашему великому вождю и учителю, товарищу... Косареву!»¹

Поднялся хохот, но громче всех смеялся Александр Васильевич.

То, что созрело, свершилось. Вскоре после чемпионата мне позвонил по телефону С. О. Вайнштейн: «Миша, важная новость, жду вас...»

Был Вайнштейн в свои 40 лет лысоват, за очками прятались маленькие глаза, большой и почему-то разноцветный нос также не украшал его лицо. Когда он волновался, то засовывал правую руку в штаны и, держа ее на поясице, твердил при этом: «Такое... такое...»

Вся его жизнь была в шахматах. Он был со дня основания фактическим редактором журнала «Шахматный листок» (ныне «Шахматы в СССР»), собирал шахматные книги (его библиотека была превосходной) и, имея большое количество шахматных друзей за границей, являлся связующим звеном между Крыленко и зарубежными шахматистами.

До революции звание мастера получить в России было практически невозможно, и поэтому русские шахматисты ездили на конгрессы Германского шахматного союза. Незадолго до начала войны, летом 1914 года, делегация русских шахматистов играла в Мангейме. Среди них были Алехин, Боголюбов, Романовский, Селезнев, И. Рабинович и другие (в числе которых и Вайнштейн). Немцы всех интернировали. Алехин представился психически больным, и его через Швейцарию отпустили на родину; остальные (кроме Боголюбова и Селезнева) вернулись уже в Советскую

¹ Тогда эту стереотипную фразу было принято относить только к Сталину

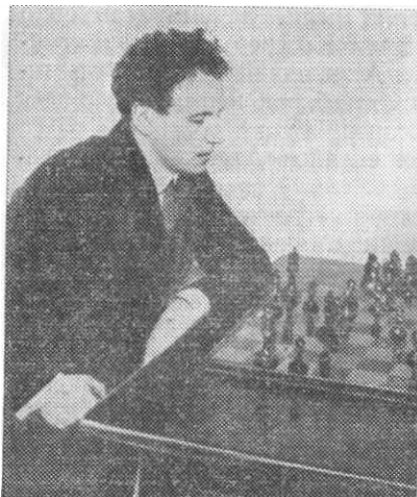
Россию лишь в 1918 году. Поэтому Вайнштейн немецкий язык знал превосходно.

«Такое... такое... - начал Самуил Осипович, стоя в привычной позе, — получил письмо от Женевского. Флор предлагает вам сыграть матч...»

Александр Федорович уже все с Флором оговорил. Ильин-Женевский тогда был советником полпредства СССР в Праге и, естественно, общался с чехословацкими шахматистами, в том числе и с чемпионом страны. Сало Флор всегда отличался предприимчивым характером — тогда он был шахматной надеждой Запада — и, рассчитывая, по-видимому, на нетрудную победу, предложил сыграть матч с чемпионом СССР.

Много позднее шахматисты знали Флора как остроумного журналистами только. Но в 30-е годы перед Флором трепетали, его сравнивали с Наполеоном. Стиль его игры был весьма оригинален. Из шахматистов последующих поколений в творческом отношении ближе всех к нему стоял Петросян, а ныне — Карпов. К сожалению, когда Флору перевалило за тридцать лет, он стал играть слабее. Видимо, счетные способности снизились, а способности к самопрограммированию не получили должного развития. После захвата нацистами Чехословакии Флор переехал в нашу страну и стал гражданином СССР.

Женевский послал два письма: одно - Крыленко, а второе - Вайнштейну, для меня.



А. Ф. Ильин-Женевский

Ильин-Женевский был человеком необыкновенным. Родился в дворянской семье, был исключен из гимназии за революционную деятельность и вынужден был уехать в Швейцарию для окончания образования. Там он объехал на велосипеде вокруг Женевского озера и, победив всех своих шахматных противников, взял себе вторую фамилию. Все это он описал в замечательной книжечке «Записки советского мастера». Во время первой мировой войны-Александр Федорович был отравлен газами, контужен и на время потерял память - ему пришлось заново учиться играть в шахматы. После фронта у него появилось нервное подергивание: он быстро-быстро и с размаху потирал себе руки, сплевывая при этом через

левое плечо (на незнакомых людей это иногда неприятно действовало). Обладал ангельским характером, удивительно порядочный человек был. Не прощал только плохого отношения к шахматам. В 1925 году стал мастером и через несколько месяцев на международном турнире в Москве выиграл сенсационную партию у Капабланки. В 1941 году погиб от немецкой бомбы в Новой Ладогге (что у Ладожского озера).

Относились мы друг к другу сердечно, хотя однажды я сделал Александру Федоровичу превеликую гадость. Было это в Одессе, во время чемпионата СССР 1929 года. Ильин-Женевский поделил в четвертьфинале первое место, но по коэффициентам не вышел в полуфинал. Тогда председатель турнирного комитета Н. Д. Григорьев решил исправить дело: собрал всех участников (всего около 40) и предложил включить Ильина в полуфинал, если ни один участник не возражает.

Нашелся 18-летний юнец, который заявил, что регламент — закон и нарушать закон нельзя; Александр Федорович тут же покинул Одессу. Никогда он меня не упрекал за этот поступок; видимо, понимал мой характер. Он был в восторге от предложения Флора и верил в успех советского чемпиона.

И вот ленинградцы едут в Москву на заседание исполбюро шахсектора ВСФК (Высшего совета физкультуры). Вернулись и рассказывают: все москвичи горячо убеждали Н. В. Крыленко отказаться от матча и дать согласие на турнир.

«Почему?» — задумавшись, спрашивает Николай Васильевич. Ему объясняют, что Ботвинник в матче обречен, а вот турнир — дело другое, там все возможно... Выражение лица у Крыленко стало жестким. «Будет матч, — сказал он. — Мы должны знать свою подлинную силу». Вопрос был решен!

Готовился к матчу я в старом Петергофе, в доме отдыха ученых. К тому времени было опубликовано свыше 100 партий Флора, которые я и систематизировал. Считалось, что Флор — шахматист комбинационного толка, блестяще ведет атаку. Выяснилось, что все это было в прошлом. Флор уже тогда стал тончайшим позиционным мастером, отлично играл эндшпиль. Дебютный его репертуар был ограничен, это облегчало мою подготовку, и я наивно думал, что подготовился хорошо. Хотя на практике это не подтвердилось, но все же 1933 год и особенно матч с Флором — даты рождения нового метода подготовки. Возмужал этот метод, однако, позднее!

Крыленко организовал матч с большим размахом. Играли в Колонном зале Дома Союзов. Участников разместили в гостинице «Националь», счет у нас в ресторане был открытый. Правда, в соответствии с привычками питался я экономно, но когда нас посетила делегация пионеров, подмахнул какой-то очень большой счет.

Флор всему этому удивлялся. Он, видимо, думал, что советские шахматисты всегда так живут. «У вас красный живот», — сказал он, к ужасу своей собеседницы Клавды Кирсановой (по-чешски — прекрасная жизнь!).

Интерес к матчу был огромный, Колонный зал переполнен. Но широкая публика была вскоре разочарована: Флор играл легко и явно

доминировал на шахматной доске.

В первой же партии я не сумел использовать подготовленный дебютный вариант, так как не составил при подготовке верного плана игры в дальнейшем. В цейтноте в равной позиции я попался в замаскированную ловушку и проиграл.

Вызвали из Ленинграда мастера А. Я- Моделя, моего старшего друга (еще в 1927 году в Москве во время чемпионата СССР мы с ним сотрудничали),— он тонко умел анализировать неоконченные партии и вообще был превосходным аналитиком.

Модель — он бойко сочинял стихи — решил отметить исход первой партии, чтобы поднять мое настроение .

Следующие две партии закончились вничью. Мое настроение (и я был не одинок), конечно, поднялось. Четвертая и пятая партии также закончились вничью, но в шестой меня ждал новый удар страшной силы.

Я получил в защите Нимцовича (вариант Краузе) трудную позицию, но дело свелось к эндшпилю. Неосторожно я даже предложил Флору ничью, но у него были два слона против двух коней, а главное – безопасная позиция. Чёрные не справились с трудностями защиты, и Флор записал в свой актив вторую победу. Казалось, все кончено, Флор непробиваем. Шахматные обозреватели меня «похоронили», а Флора возвели в гении.

Переезжаем в Ленинград. Вторая половина матча будет проходить в Большом зале консерватории.

В «Красной стреле» Флор беспокойно ходит около меня и наконец предлагает поменяться местами.

— Почему?

— У вас тринадцатое место, мое счастливое число... А, так ты суеверен? Отлично!

— Нет,— отвечаю,— я тоже суеверен и никогда не уступаю своего места...

Ленинград. Выходим на перрон. Все пробегают мимо меня и окружают гроссмейстера. Едем в «Асторию»; большой, холодный и какой-то неуютный номер гостиницы... Что делать? Набираю телефон 82-58...

— Мама, здравствуй. Ты меня кормить будешь?

— Конечно, буду, приезжай...

И вот я дома, на Невском, 88. Большая коммунальная квартира, живут семь семейств. Узенькая десятиметровая комнатка, во время утренней зарядки надо стоять вдоль комнаты (если поперек, то упираешься пальцами в стены). Но здесь меня никто не тревожит: ни Флор, ни журналисты, ни болельщики — я исчез. Напротив, на Невском, живет Модель, бегу к нему, там уже Слава Рагозин. Они меня не оставили.

— Миша,— убеждает меня Слава,— дебютный вариант первой партии очень хорош. Вы просто ошиблись. Давайте посмотрим.

Поработали несколько часов, но не успели закончить. Решаем в седьмой партии этого не применять, надо все подготовить к девятой — следует действовать наверняка. Флор сейчас «рваться» не будет, наоборот,

две очередные спокойные ничьи убедят его в своей неуязвимости и в беспомощности партнера...

К девятой партии (№ 55) все было готово. Мама и брат также решили поехать на игру. Едем на «линкольне». Зал переполнен.

Флор самоуверенно повторяет вариант первой партии, я применяю новое заготовленное продолжение, связь между дебютом и миттельшпилем установлена заранее!

Критический момент партии: найду ли я сильнейший ход 14. ФБ4 — это в пресс-бюро интересуется всех, но никто уже в меня не верит... «Конечно, это сильнейшее,— говорит Левенфиш,— но разве Ботвинник решится на подобный ход?»

Конечно, решился — к этому моменту матча я уже освободился от скованности, был сосредоточен.

Флор изобретательно защищается, но партию не спасти. Гром оваций. «Хорошо,— думаю,— посмотрим теперь, насколько ты устойчив психологически!»

Флор не оказался устойчивым. По совету Моделя и Рагозина применяю в десятой партии (№ 56) голландскую защиту, построение «каменная стена». Знаю, что Флор этот вариант никогда еще не

играл, а здесь белым надо действовать активно и умело. Флор в незнакомой ситуации играет пассивно, передает инициативу черным, допускает просмотр и вскоре капитулирует. Теперь счет матча 5 : 5. Овации и шум в зале неописуемы. Флор не гений. Обозреватели? Те быстро перестроились...

Да, Флор не гений, но шахматист исключительной силы. Одиннадцатую партию он играет после труднейшего сеанса одновременной игры, который затянулся далеко за полночь. После дебюта попадает в тяжелую позицию. Однако отступать уже некуда. Проигрыш партии — проигрыш матча. Он собирается с силами и ловко добивается ничейного исхода.

Осталась последняя партия. Через С. О. Вайнштейна Флор мне передает, что раз противники уже показали примерное равенство сил, он предлагает в двенадцатой партии ничью. Я, конечно, не возражаю — мог ли я мечтать о ничейном исходе матча накануне девятой партии!

Это было международным признанием развивающейся советской школы в шахматах. Николай Васильевич Крыленко, который не мог скрывать своих огорчений в Москве, приезжает на заключительный банкет.

Ресторан «Астория» переполнен. Шахматисты, артисты, ученые, юристы (влияние Крыленко) и просто знакомые... Угощение отличное. Николай Васильевич доволен — не зря девять лет назад он стал во главе советских шахмат! С обычным красноречием он высказал то, что у него было на душе. Затем взглянул на меня и продолжал: «Ботвинник в этом матче проявил качества настоящего большевика...» Ну и ну! Что же теперь скажет Коля Тарасов, который не упускал случая попрекнуть меня, когда я пропускал скучное собрание? Затем танцы. Танцую с Галей Улановой (ее на банкет пригласил Рохлин). «Никогда не думала, что шахматисты танцуют»,— говорит Галя. Я ей ничего сказать не мог — фокстрот она

танцевала слабо.

Фокстрот и чарльстон я танцевал на уровне профессионала. На протяжении многих лет каждую субботу я ходил на танцульки с Ниной Дитятъевой (я учился в одном классе вместе с ее сестрой Лелькой, она погибла в первый же день войны вместе с мужем-пограничником). Нина и научила меня танцевать. Чарльстон сначала у меня не получался — не так просто вертеть обеими ногами одновременно. Но я схитрил: месяца два методично тренировался перед зеркалом и создал свой стиль, когда ноги работают поочередно (заметить это было практически невозможно). Нина сразу же освоила новую систему, и на танцевальных вечерах все почтительно наблюдали за нашим исполнением, наивно полагая, что это новейшее веяние с Запада...

На следующее утро прихожу в «Асторию» поблагодарить Николая Васильевича и попрощаться с ним. Крыленко усаживает меня и фотографирует; потом прислал мне фото на память.

На прощание Флор дарит мне свою фотографию с надписью «Новому гроссмейстеру с пожеланиями дальнейших успехов». Кажется, я выполнил его указания. Гроссмейстером же формально я стал лишь полтора года спустя.

Провожаем Флора на вокзале. Он поездом через всю Европу едет на турнир в Гастингс. Никто и не думал, что этот турнир войдет в историю шахмат как конец блестящих побед Алехина, который на протяжении семи лет, после завоевания первенства мира, не знал неудач. В Гастингсе Алехин поделил 2—3-й призы, отстав от Флора на пол-очка.

Дом ученых проводит диспут о творческих итогах матча. Друзья мне уже сообщили, что на меня будет нападать «старшее поколение». Так оно и есть: Г. Левенфиш и П. Романовский, которые после московской половины расточали похвалы Флору, теперь критикуют меня за равный счет в матче, за осторожность, за обилие ничьих.

Рассказываю собравшимся о закулисной стороне матча, о психологической стороне борьбы, о непробиваемом стиле Флора и т. п. В заключение не сдержался и напомнил об итогах матча Боголюбов — Романовский в 1924 году (6½ : 2½). «Петр Арсеньевич,— спрашиваю Романовского,— вы тогда, видимо, правильно играли с творческой точки зрения? Какой же вид имели бы теперь советские шахматы, если бы я играл с Флором по Романовскому?»

Примерно через месяц — неслыханная скорость — вышел сборник партий матча с моими комментариями. Во вступительной статье я рассказал о своей подготовке. Это была первая публикация о зародившемся методе; вторая публикация была пять лет спустя, когда метод уже был разработан во всех тонкостях.

И в заключение пришлось проглотить пилюлю. Аспирантами электромеханического факультета тогда командовал профессор Толвинский, один из крупнейших специалистов того времени по электрическим машинам,— он был консультантом Днепростроя. В конце семестра в

большой электротехнической аудитории (позднее ей было присвоено имя академика В. Ф. Миткевича) он собрал аспирантов и подвел итоги их работы. «Все было благополучно,— сказал Вацлав Александрович,— все аспиранты успешно выполнили свои планы, кроме двоих: один был болен, а другой был отозван для... общественной забавы!»